

Борис Иванов

НОЧЬ ДЛИННА И ТИХА,

ПАСТЫРЬ РЕЖЕТ ОВЕЦ.

Он был глух и одинок. И уже тогда, когда живописцы, казалось, не знали другой цели, как перешеголять друг друга, кто лучше слизет обложку очередного номера журнала "Огонек", он начал писать КАРТИНЫ. Его предал дальний родственник- врач-выпивоха: привел преподавателя академии художеств Коломейцева. Была субботняя ночь, за окном падал снег, соседки- две одинаковые старушки- в своих комнатах уже давно спали. Большая наглость прийти в такую пору, да еще с незнакомым человеком. Осоловелые от вина, они посетили его почти что случайно, но причина может не иметь никакого отношения к следствиям этого визита. Уже тогда Конов писал в "черно-белом алгоритме", не отступая от двух размеров картин, равных боковой и передней стенке холодильника "Воронеж". (Позднее, происхождение формата открыл студент Коля, который обратил внимание на магазин "электротовары" рядом с домом художника и гору упаковочных ящиков от холодильников в углу двора).

Алевайцев <sup>кем, чей?</sup> уставился в картины Кожинова, а врач, большой и толстый, с детски короткими руками, рассказывал. И потом, когда известность его родственника стала расти, он, единственный, кто не церемонился- продолжая убеждать, что его двоюродный брат- кретин. Со временем, он обратил "рассказы о Кожинове" в свое собственное хобби. По-видимому, безбожно присоединял и, как единственный источник сведений о прошлом художника, находил удовольствие морочить слушателей. Впрочем, его можно понять,- что может быть хуже места врача ординарной больницы для человека с

мыслями, честолюбием и несчастными романами. Он "делал капусту" подпольнымиabortами, водил знакомство с художниками и актерами,- и их беззаботная ироническая жизнь, которой он завидовал, сделала его циником.

- Вы спрашиваете, кто его родители? Никто. Первопопавшиеся. Какой-то шофер. Водил и сейчас возит какого-то туга. И сам корчит перед другими шинку. И никаких задатков. Омерзительный тип. Мать - дура. Служебная крыса какой-то конторы- не то сберкассы, не то почты. До сорока лет ходила на танцы, а ее супруг собирая так называемые "фронтовые открытки".

Если верить рассказам, Кожинов отличался крайней тупостью и упрямством. Например, когда его по возрасту хотели принять в комсомол, ему никак не могли объяснить, что настоящий комсомолец газету выписывает и читает каждый день, он же стоял на том, что газету он уже однажды прочел. По другой истории, уж больно смахивающую на анекдот, Кожинов настойчиво допытывался у учителей, кто такой "русский". Впервые этот вопрос у него возник, когда он узнал, что на территории СССР живут разные народы. Тогда- это было в четвертом классе,- он высказал предложение, чтобы разные народы жили в разных странах. Когда ему сказали, что в Советском Союзе всем народам хорошо, он сказал, почему тогда не отменяют народы. Ему пытались втолковать, что русские, такие же люди, как другие, но говорят они на русском языке. Объяснение он не понял и спросил, а когда русский говорит по-немецки, он русский или нет. Он не понял, что такое родной язык, потому что выяснилось, что дети евреев, украинцев, карелов, татар языка родного не знают, но русскими почему-то становятся. Учительница имела глупость сказать, что существуют, так называемые, национальные черты- отличительные признаки внешности, характера и т.д. Но оказалось, или в классе вообще нет русских, или русские все, но никто не имеет ничего общего с этими чертами. "Эй, великодушный!" "Подойди сюда, голубоглазый!" ... вошло в жаргон класса и школы.

По-видимому, следует признать достоверными такие факты: Кожинов убегал из дома и родители отказывались от не-

го и потому он некоторое время содержался в колонии для трудновоспитуемых; на улице его подобрал какой-то опустившийся художник-инвалид, у которого он жил некоторое время; он служил в армии. Во всяком случае, эти факты или что-то поясняют в настоящем художника, или не вызывают сомнения своей обыденностью. Похоже на выдумку, что будто бы Кожинов служил в парашютных войсках, что он в составе десанта однажды был выброшен при подавлении контрреволюционного мятежа, что штурман авиополка допустил ошибку и они приземлились в ста километрах от намеченного района, а Кожинова отнесло ветром и он угодил в болото, в котором проторчал неделя по горло в трясине. Врач рассказывал об этом с нескрываемым сарказмом. "После этого, — добавлял он, — мой братец окончательно рехнулся и оглох. Его поставили стеречь свиней, потому свиньи от бескорыстия визжали день и ночь, и только глухой годился для такого дела."

### В БОЛЬНИЦАХ И НА СУШЕ.

Врач предал уединение Кожинова. Потому что Коломейцев привел своих друзей, таких же вальяжных. А затем пошли студенты: живописцы и искусствоведы и их друзья. Через год художник уже не помнил, кто кого когда-то привел, кто ему представлял этих людей, то исчезающих на многие месяцы, то упорно являющихся каждый вечер и которых, наверно, — если бы учил, — можно было бы назвать его учениками. Но он не учил и умел, как он один, не отказываться и не смотреть чужие работы. Вот уже положил перед собой папку с листами, но со стола предварительно хочет убрать карандаши в стаканчик, но и стаканчик надо поставить на полку, где у него стояло несколько книг по искусству и старый энциклопедический словарь, в котором он иногда рассматривал иллюстрации — то план собора Петра и Павла, то разрез минного аппарата Симсо-Эдисона, то ботанические рисунки, то портреты великих людей величиной с почтовую марку или с графическими пояснениями: "кучевые облака", "перистые облака", — он делал шаг к полке, но к папке уже не возвращался. По двусмысленному

выражение его лица было видно, что это - бегство, и бегство сознательное. На холст, поставленный прямо перед ним, он был способен ни разу не взглянуть, как если бы то место, где стояла картина, - пустое отверстие.

Однако, если бы художник раз и навсегда отказался смотреть чужие работы, его бы со временем искушать перестали. Иногда же он решался взглянуть в это отверстие мира. Его одутловатое лицо становилось и страшным и беспомощным, - он будто ожидал удара, и дышал с заметным облегчением, когда осмотр был закончен. Некоторые художники годами не решались предъявить ему свои работы, между тем, как свое мнение он всегда выражал одним и тем же способом: обводил пальцем то место, которое в картине считал удачным. Можно было заметить, что осмотр был тем длительнее, чем труднее было ему отыскать этот клочок неиспорченного холста. Его мнение так и передавалось: в воздухе чертили размер "пятачка".

Ведь по губам, что говорили он понимал. Да и глухота его не была абсолютной. Он, например, прекрасно слышал стук в дверь, на уличные сигналы милиционских и медицинских машин поднимал в комнате голову. "Он не хочет слышать, - доказывал своим друзьям студент Коля, который, кажется, поставил перед собой задачу проникнуть во все тайны Кожинова. - Он сумел забыть обо всем, что нельзя увидеть. Он достиг той концентрации на вещах мира, которую знали лишь творцы наскальных изображений."

## 2.

Родственник предал его многолетнее уединение. Раньше он начинал день кристальной чистоты НАЧАЛА. Нужно было видеть какой соразмерностью отличались его движения, как если бы каждый предмет он уравновешивал: зубную щетку, ломоть хлеба, стакан чая, - на тонких весах, - не движения, а математически выверенные траектории рисовались в воздухе. Окутанный ими - одевался жить, упорно вглядывался - здесь ли, в своей вагонеобразной комнате, или на улице, - никогда не останавливалась, проходил мимо, но возвращался

если "заязывалось", уже озадаченный, уже готовый к смелости, уже бросающийся в глаза, - и часто бежали матери с детьми, гневались алкаши на садовых скамейках, продавщицы уличных лотков отгоняли, смеялись грязные асфальтищики, косил глазом надменный постовой, собаки вопросительно взмахивали хвостом, - он не останавливался, но снова возвращался, и те, кто хулил его, подмигивали, кто бежал - тому уже казался смешным; он мог привести в отчаяние своими возвращениями, своим явно ненормальным интересом; сквозь ветви кустов, вдруг, снова видели его дурашливое лицо, а забытого находили в том же магазине, где стояишь в очереди за мясом. Он, по-видимому, людей помнил долго, иногда годы, и многие персонажи его "объектов" старели, он сам за это время старел и вызывал симпатии одинаковой судьбой, не менее загадочной, чем своя собственная.

Он не был охотником за сюжетами. Ведь каждый из нас озадачивается, но идешь мимо - не возвращаешься, - зачем? - можно жить с посеянной тревогой и вопросами, засыпанными пылью новых впечатлений. В безобразных снах они снова пройдут как тени, - другое дело Кожинов: он делает картины и не видит снов.

Теперь по утрам он застает следы вчерашнего нашествия. Прежде старушки-жильцы почтительно относились к нему - к мужчине, с солидными привычками, торжественно молчали и соревновательно суетились, когда он вкручивал новую пробку в электро щиток или налаживал работу унитаза, - "хорошо, когда в доме есть мужчина", "хорошо, что не надо бегать за каждой мелочью в жилконтору, от которой никогда ничего не добьешься", "хорошо, когда в дверь ломится какое-то хулиганье", "у нас, слава Богу, сосед - лучше не надо", - теперь же они пишут заявление к участковому, в товарищеский суд, в газету, в райисполком, в прокуратуру, в дружину, - они в постоянном негодовании. И жизнь художника получила в этих бумагах многократное отражение, - первое критическое свидетельствование о его жизни.

В свидетельствованиях старушек было не мало преувеличений, которые можно объяснить их старанием привлечь к

своему делу внимание. Можно заметить выражения, заимствованные из телевизионной программы "Человек и закон", а также деятельность их воображения, которое не могло совладать с явлением странным и, очевидно, опасным, если не для ~~их~~ финального отрезка их жизни, - "нам осталось жить немного", - писали они, - но для других, для общества. И в самом деле, что нужно всем этим людям в невообразимых одеждах, коротко остриженным и длинноволосым юношам, девицам с отрешенными лицами, бородатым, священнического вида мужчинам, у холос-того и глухого кровельщика жилконторы, из комнаты которого годами не доносилось ни звука, а теперь - гул непрерывного заседания и, очевидно, неуместный смех? Каждый вечер идут и идут, и топчут пол к туалету и на кухню, где один чайник сменяет другой. Как после совещания, в коридоре курят, говорят непонятными словами, но если присмотреться, то получается - фарцовщики, наркоманы, или баптисты - банда.

### 3.

Жизнь художника получила огласку. Оказывается, он вырос на большой дороге. Как рок, он не множился, все метилось единственным числом. Несколько улиц со старыми домами, брандмаерами, пожарной каланчой, "шашлычной" и двумя рабочими столовыми, остановкой трамвая "3" и "31", с неразличимыми до некоторой поры облупившимися кариатидами на фронтонах зданий, мемориальной доской, которая будила теперь иронию, колоритом жизни только здесь, требующим теперь своего объяснения, - все это становилось "кожиновскими местами". К пятиэтажному дому, к серой пыльной лестнице, к двери, обитой обшарпанным дермантином, с почтительным страхом перед деянием его - неясным, но совершающимся с машинообразной фатальностью: он как хронометр, который гонит стрелку во тьме и на свету, в ящике стола и подброшенный в воздух, - к нему шли не из призательности, но mimic его невозможно было пройти, как в мистических обществах не миновать посвящения.

Он как будто требовал жертв, - наводил мысли на само-

убийство. Справлять по себе тризну приходил Коломейцев.

"Откуда ты взялся", - спрашивал, охмелев, глухого Мастера, а он, высокий и сутулый с большими кистями рук и одутловатым лицом, - жрец, никогда не снимающий шапку-ушанку-ни зимой, ни летом, ни дома, ни на работе, с полным отсутствием выражения на лице, вернее, - перемен выражения, - идол? критик? гений? скимник? бобыль? жрец один и одинокий? нужный ли?... - усаживался несколько в стороне, вытянув длинные ноги, и застывал в безразличном внимании. Мысль о самоубийстве приходила после... В начале картоны. Черно-белые. Дома, заборы, небо, лавки, детская коляска и женщина, человек со скрипкой, - кто-то-и-кто-то-еще - во взаимодействии чего-то совершающегося. Сейчас произойдет! Что? Оживление, напряжение... а потом уже на улице или дома - надлом, жить не хочется. Вот и совершилось там, в благополучной структуре бытия, как будто по готовой уже трещине.

Студент Коля не мог простить Кожинову этого. В чёрную ночь еле одолел, - рассказывал, - "ничто тотального отчуждения". "Вы словно хотите сыграть картину Кожинова", "что б вас расстреляли на вершине холма". Выздоровев, в несколько дней, возмужавший студент явился к Мастеру. Без благоговения, без пietета, новым лицом, усмехаясь, сказал:

- Картины делаете?

- Вы пьяны, - пробормотал Мастер.

- Нет, я не пьян. - Коля показал на работы: - Это, все-го-навсего, краски, - вот что хочу я сказать. Из этого еще ничего не следует! Ни-че-го! Ни-че-го!

Кожинов встал и подошел к мольберту. Студент был первым человеком, которого удостоили смотреть, как он работает.

Да, картины художника были черно-белыми. Но писал он не белками и сажами, а любым сочетанием краски добивался впечатления черно-белости: простоты, контрастности, единства. Нужно было рассматривать "пятачки" в отдельности, чтобы увидеть зеленое и красное, желтое и синее. Коля разъяснял зрителям "принципы Кожинова": "Это - антиковопись, аниглияция цвета цветом, черно-белая сверхфотография".

Ни в какие принципы Кожинов студента не посвящал. По-видимому, ему было вообще безразлично, что о нем говорят. Он перелагал ответственность на самих толкователей. И студент принял ответственность на себя, в начале, во всяком случае, из нравственных побуждений: он мастера разоблачал.

Он приходил в вагонообразную комнату Кожинова, как на дежурство — в портфеле книги для чтения и еда. Так в музеях дежурят гиды, пока не собирается очередная группа экскурсантов. Он вступал в разговор, когда пришельцы начинали обсуждать живопись мастера.

— ... Я говорю не только об иллюзии, которая присуща искусству вообще, — не забывайте, перед вами всего-навсего краски, и если вы об этом помните, тогда вполне оцените высоту мастерства, но это иллюзия еще и в другом смысле. Позерить Кожинову, — значит поверить в потустороннюю жизнь, вы должны поверить, что ваши различительные способности и ваш мозг будут функционировать и после того, как вас раздавит машина, когда расстреляют, хирург зарежет на операционном столе, — вам жизнь покажется иллюзией, а смерть — не выход, а вход.

— ... Чепуха, никакой свободы вам Кожинов не презентует. По ту сторону никакой свободы нет, если вы выжили, вы находите свою судьбу. Но личная судьба ничуть не лучше кабины лифта.

— ... Социальные судьбы Кожинова не интересуют.

— ... И вы лично его не интересуете.

— ... Никого он не продолжает и ничего не пытается спасти. Он исходит из безразличия. У него нет ни слуха, ни памяти. Да никого он не зовет! И зрителя не ищет, зритель навязывается сам...

Коля поворачивается к Мастеру, вызывая его на согласие и возражения, — в темном углу, на тахте, немедленно молчал художник. Казалось, он был доволен, как разоблачитель борется с силой его картин.

— И не ждите от него ответа. Ему нет дела до того, как станут его понимать. Он сам находится в иллюзии, что живет по ту сторону. Без этой иллюзии он пуст. А мы сейчас обсуждаем свои дела... Он там, мы здесь.

Коля познал горечь подлинного философа: жить в бессмысленности и пытаться прогнать ее полотенцами никогда не окончательных слов. Он бросил академию и работал грузчиком в "химчистке". Как он уставал после диспутов! но без них он уже не мог жить. Вечерами, когда они оставались вдвоем, студент кипятил чай или на кухне что-нибудь готовил. Возможно, это были лучшие вечера молчаливого понимания, если, конечно, художник в понимании нуждался. Он не отказывался выпить, но ясно было, что он воспринимал свое участие как чисто ритуальное. Иногда вставлял в разговор несколько слов, всегда как-то не к месту: "Было пять Лоренцов", - сказал однажды, когда кто-то упомянул какого-то Лоренца.

Однажды студент попытался разузнать о прошлом художника:

- Это правда, что ваш отец собирал фронтовые открытки, а мать ходила на танцплощадку до сорока лет? Что вас воспитывал старший брат? - Кожинов неопределенно покал плечами. - Ваш двоюродный мне рассказал, как однажды увидел вас на лестнице. А пролетом выше ваш брат стоял с ремнем и кричал, - вам было лет десять, - "Я научу тебя свободу любить!"

Это было единственный раз, когда Мастер засмеялся. Но распространяться о своем детстве не стал.

В один из таких вечеров студент, который досконально знал работы мастера, случайно наткнулся на картину, которую еще не видел, - ее можно было бы назвать "Пионерка с арбузом". Страдальческая гримаса прошла по лицу художника, будто болезнь первым налетом наметила всю карту будущих болей. Но он не запретил своему разоблачителю ее осмотреть "Это относится к разряду "Юношеских дневников"" , - сделал студент вывод.

#### 4.

По утрам художник одевал старое серое пальто, связывал шею шарфом и отправлялся на работу. Он любил этот сброд, который числился в жилконторе: дворников и дворничих.

электромонтеров и водопроводчиков, кровельщиков и плотников, их блаженство обсуждать жалобы жильцов и перспективы проверок их деятельности районным начальством, известия о лотерейных выигрышах, о свадьбах и разводах, возвышаться до проблем мировой политики и чудес будущей жизни, обещанных наукой. Амбулатория не оставляла ни одного мнения без внимания и подводила общий итог, из которого вытекало, что жизнь - сложная штука, человек - существо замечательное, но склонное зацикливаться, а вообще - все идет к лучшему, и их коллектив - необходимый элемент в мировом порядке. Увидев эту команду, можно было понять, где заимствовал художник свой житейский стиль: сидеться, сидеть на стуле, курить, простодушную бесцеремонность, которой здесь отличались все, живущие эмоциями и, в сущности, безразличные ко всему тому, что выпадает из поля их минутных интересов.

Они выходили после планерки во двор, блаженные от разговоров, и курева, неподвижного сидения в тесной конторе, напутствуемые своим командиром на неотложные дела. Но в мировом порядке вещей: магазин открывается в девять, на углу дает корюшку, оказывается есть халтура и т.д., - диспозиции руководства неотвратимо нарушались и к завтрашнему дню получится что-то невообразимое: исчезнут доски, которые привезли для ремонта полов, кто-то подерется с мужем, кто-то сломает палец, машина за отбросами не приедет, техника-смотрителя срочно вызовут на совещание, - и завтра все это будет снова обсуждено и полководец подведет черты, и все пойдет вперед с тем детским оптимизмом, который не знает ни добра, ни зла, а только преданность этому малоуправляемому потоку жизни.

Здесь, на дне, в социальном низу, не было лишних. Здесь человек принимался таким, какой он есть. И когда бывший начальник вспоминал о ком-то: "золотой был человек", - все понимали искренность человеческой печали, ибо могло последовать: "помните, как в третьей квартире прорвало фановую трубу", - и каждый понимал, что в этом мировом порядке было нелегко оказаться на месте в нужный момент, с нужным инструментом, и нужно быть золотым чело-

веком, чтобы достать другую трубу, ибо этих труб с прошлого столетия не выпускают ни в одном уголке вселенной. Что касается доски "Лучшие люди жилконторы", то и фото художника временами висело здесь. Отсюда, после планерки, Кожинов шел за стариком-кровельщиком в подвал, где среди кусков жести они сидели и курили. Потом неспеша лезли на крышу или находили работу внизу. И так до обеда. Потом расходились по домам, если не было ~~жаждущими~~ какого-либо сверхординарного события.

Художник затерялся здесь среди неудачников, неустроенных, безалаберных, непризнанных людей- каждый со странностями,- и, по-видимому, со странностями был их начальник, бывший военный прокурор, тоже, наверно, непризнанный. И верным чутьем Мастер угадывал среди своих интеллектуальных визитеров тех, кто объявлялся у него в гостях случайно и получал урок опасности, которая угрожает каждому в случае социальной неудачи, и тех, кому было дано почувствовать ошибочность успеха и обитать там, где все возможно и простительно и где человек по-настоящему одинок, потому что он тут ничего за других не решает.

Но художник повторял: "Не в этом дело". Он повторял эти слова всегда, когда мысли становились навязчивыми. Не в этом дело- быть одиноким, не в этом дело- горячить себя справедливостью или славой. Но он также знал, что нет смысла удерживать в памяти мать детства, как она поддавала вилкой ком серого вареного мяса в кастрюле и выкладывала, будто все еще живое, на тарелку, или как солнце прожигает вмятину на гребне крыши по утрам,- как разочарование, он пережил это еще в детстве. Быть одиноким- жить без воспоминаний. Так он освободил себя от необходимости благодарности, но не от привычек. "Но не в этом дело", есть только неумолимость совершающегося.

Сразу трудно понять, совершающееся-не совершившееся. Совершающееся не имеет никакого отношения к тому, что может случиться в ящике памяти, из которого художник что-то вытаскивает, а потом- раскрашивает. И не то, что совершается сейчас, как ему долго казалось,- и в схватке за эту исчезающую жизнь он обрел скорость письма, быстроту взгля-

да, простоту и обнаженность сюжетов. "Не в этом дело", - догадался он, когда перестал узнавать свои картины, написанные год назад. Он должен был это понять - и остановился с вопросом, который не имел ответа. Краски на палитре каменели. Закрывался в комнате и лежал на пыльной и полу-провалившейся тахте. Когда перестал появляться в жилконторе, мать с братом отправили его в псих-больницу, где среди идиотов и шизофреников он продолжал ждать ответа, а психиатр, в представлении которого человек был не сложнее ходиков, пробовал пустить его колесики в ход.

Шизофреник. - Здесь пахнет мужчинами. В худшем смысле. Вы не находите парадоксальным, что во всех больницах кормят нездоровой пищей.

Врач /Кокинову/. - Алексей Петрович, я хочу вам напомнить, что бумагу и карандаш вы получите по первому вашему требованию.

Больные. - Вы не хотите создать наши портреты?

Кокинов. - Зачем вам портреты, когда вы и так есть.

Больной. - Кровельщик - неплохая профессия. У меня был друг верхолаз.

Врач. - У вас, надеюсь, не слишком сложные отношения с тем, что вы изображаете. Смотрите на то, что вы создаете, просто. В самом деле, почему вам не сделать портреты больных. Мы могли бы устроить в коридоре больницы вам выставку.

Новый больной. - Здесь пахнет мужчинами. В худшем смысле.

Больные. - Так значит, вы не хотите создать наши портреты!

Мать. - Я знаю, что ты на меня сердишься. Но в тридцать три года не создать ни дома, ни семьи, бросить работать, - в конце концов, я должна была это сделать, это мой долг. Я очень болею за тебя, Алеша.

Полгода достаточно для того, чтобы сникнуться с мыслью, что жизнь ушла вперед, а ты остался там же, как муха на паутине вентиляционной трубы. Именно тогда, когда он согласился, что ничего много и не может быть, он застал себя в "комнате отдыха", играющим в шашки с новым больным, - вокруг ахали и хохотали зрители, - и собственный

хочот подступал к горлу, как приступ долгожданной тошноты, изрыгающий живую, но ненужную массу, ему представился образ и с такой силой, что потом он всегда мог вернуться к нему и рассмотреть еще и еще раз, обнаруживая новые и новые детали.

НОЧЬ ДЛИННА И ТИХА,  
ПАСТЫРЬ РЕЛЕТ ОВЕЦ.

Мастер увидел и почувствовал удущливость ночи, блеск неба над горным пастбищем; если посмотреть ближе — чуткое вздрагивание овец, и рука пастыря, покойно погружающаяся в белую шерсть. Лезвие ножа и клекот крови в горле, как нежное признание.

— Ты что! — закричал партнер.

— Ты что! — повторяли другие. Мастера теснили к окну. И один, со спящим лицом, пытался подойти ближе с раскрытыми ножницами.

Врач пригласил Кожинова в кабинет. Здесь с искренним интересом он пытался дознаться о причине, вызвавшей агрессивность больных против Кожинова.

— Вы, в самом деле, никого не тронули даже пальцем! Коллективные состояния не трудно вызвать направленным повторением раздражителя. Но вы, как говорит медсестра, спокойно играли в шашки. Кстати, вам повезло, что она находилась в комнате отдыха. По-видимому, в вашем поведении больные подсознательно усматривали некий вызов, который их раздражал в большей степени, чем они это осознавали. И вот ваше поведение, которое по моим наблюдениям становилось все более нормальным, конформным, вызывает этот инцидент. Почему вы не хотите сделать портреты больных?

— Может быть, хватит, — сказал Кожинов.

— Может быть, — с разочарованием кивнул врач. Ему не хотелось терять занятного больного; известно, наиболее важные открытия в психиатрической науке были подготовлены наблюдениями над выдающимися пациентами.

## 5.

Все дальнейшее делалось помимо воли Кожинова: комиссия, после длительной дискуссии признала его инвалидом, Госстрах назначил маленькую пенсию. Вагонообразную комнату, на которую он раньше имел право, лишь пока работал в киоконторе, теперь закрепили за ним. Наконец, было доказано, что он имеет право лежать на своей тахте, пока смысл жизни остается ему неизвестным. С бельем, завернутым в газету, он, свободный, шел в баню; "ночь длинна и тиха, пастырь режет овец" — обступила его в мерцании запредельного смысла посреди дня. Кожинов шел ему навстречу. Из ворот выбежал мальчишка и ударился в Кожинова. Мальчишка хотел поднять мыльницу, выскочившую из свертка, художник — мальчишку. Он оторвал его от земли и увидел красное испуганное лицо, и то, что было Кожинову мучительно неясно всю его жизнь с тех пор, как он помнил себя, само в себе завершилось. Он вернулся домой и, не снимая пальто и шапку, стал чистить палитру. В тот же день он продал кое-какие книги и купил недостающие краски.

НОЧЬ ДЛИННА И ТИХА.

ПАСТЫРЬ РЕЖЕТ ОВЕЦ.

С тех пор он писал всегда только одно: неотвратимое, ибо смысл совершающегося — в неотвратимом. Ему хорошо работалось в тот день в шапке и он перестал ее вообще снимать. Когда же стало известно, что Кожинов полгода находился в психлечебнице, появился анекдот, который связал эти два факта. Будто на вопрос ученых психиатров, что случится, если вам отрежут уши, он эти полгода неизменно отвечал, что не будет видеть. Когда же упрямство Кожинова медиков возмущило и они потребовали объяснить, почему он так глупо отвечает, ведь, очевидно, человек с обрезанными ушами станет плохо слышать, художник ответил: "Да потому что шапка станет сваливаться мне на глаза."

Его называли "новым явлением" и "призраком начавшегося Возрождения". Кто-то признал себя его учеником и продолжателем. Им перед кем-то гордились. Он стал козырем неудачников, а удачники - Коломейцев - не отрицали его живопись. Черно-белые картоны начали населять квартиры и коллекции. Кожинов работ своих не продавал. Но и не дарил - разрешал: "пусть у вас повесит". Иногда просил вернуть работу - смотрел ее, потом или возвращал илиставил на антресоль. Он купил себе куртку на ватине, - вата становилась его стилем. Можно было подумать, что предательство двоюродного брата пошло художнику на пользу. Он имел все, что имеет признанный художник - почитателей, славу. Нищета, собственно, была его прихотью, ибо он неизменно отклонял предложения купить его работы. Но неотвратимое оставалось нечувствительным к тому, что вокруг происходило. Но не будь предательства, в его дом никогда бы не вошла Алена.

Она где-то училась и что-то не закончила. Да, да, - она продержалась несколько лет на искусствоведческом отделении университета, прежде чем встретить молодых художников - из тех, которые почему-то считают, что именно то время, в которое им выпало жить - это и есть замечательное время. Их голова устроена так, что во всем они умудряются видеть признаки глобальных перемен, а когда ожидания не сбываются, среди них находятся характеры последовательных профессий становится обличение мира. Эти художники демонстративно покинули академию. Несколько девиц решили из солидарности последовать их примеру. Все вместе они пришли к Мастеру. Разве он, великий новатор, с ними не заодно! Студенты бурлили; вскакивали со стульев, угрожали конформистам историческим возмездием, ожидали от Кожинова высокой похвалы.

Художник сидел за столом вместе с ними, иногда кивал, чтобы показать, он их слышит, даже открыл несколько глотков из стакана, озвучивая еле гулом своего дыхания. Он думал: "...время стрижет вереск мира, седая полоса прокоса бежит к горизонту и на этом поле роняют семена не из радости. Семена падают, - их не выкорчешь, - и время проносит-

ся над их головой." И дальше: "Не в этом дело. Им кажется великим то, что ничтожно. Они горячатся потому, что не знают о масштабах и о пропорциях, они не знают, что каждая линия сворачивается, как кислое молоко, - в колечки овечьей шерсти. Неотвратимое не жестоко, пастырь не знает страсти. Когда я буду Его писать, он будет как валенок..."

- Я знаю, о чём вы думаете, - сказала Алёнка, притягивая рукав ватной куртки Кожинова. - Сказать?

Мастер видел, как остекленели глаза гостей. Им было стыдно за дурное поведение своей знакомой. Они говорили, чтобы она взяла себя в руки, что она может флиртовать где-нибудь в другом месте, что она пришла сюда не просто выпить - она должна понять, что присутствует на встрече чрезвычайно серьезной, а, может быть, и исторической, поэтому она ведет себя крайне легкомысленно и ставит их всех в неловкое положение, если же она чересчур много выпила, то пусть немного прогуляется. Алена в ответ обхватила шею Кожинова, и из-за его шапки, как из надежного укрытия кричала:

- Я уже достаточно наслушалась вас. Вы мне и всем надоели со своими глупыми разговорами. Кому нужна ваша болтовня! Ему! Мне!.. Вы ничего не понимаете. Не я, а вы мешаете нам. Уходите...

Мастер опустил голову и сидел так, пока гости, не говоря ни слова, оделись и вышли.

- Критины! Мнят себя бог знает чем! Я ходила с ними по всему городу - и везде одно и то же. Разве они понимают Вас! Разве они понимают, как вы одиноки.

Мастер обвел ее лицо глазами - и поверил ее словам.

- Я закрою за ними дверь? - сказала девица.

Мастер привык пренебрегать видимостью вещей: "желантином", - так это называлось на его варварском языке. Он привык к той мысли, что если вещь цепляется за другую, если не имеет, как он формулировал, своего контура, - это знак ее стагнации, - и там, где она, как казалось, обладала пространством, он писал знаки небытия, разные, как разнятся человеческие смерти. В его мире не было добродушного

"чаяния предметов", хотя он и не был судьей, но читателем книги бытия, - не более. Теперь же, когда он всматривался в эту одетую в красное вязаное платье женщину, он видел ее "в контуре", но в "контуре" не было ничего, кроме видимости. Его усилие отделять одно от другого было тщетным. При этом трезво осознавал все, что она говорила, делала и изображала - своих друзей, самое себя, и даже его, - все это то, что называют "чарами", искусством кокетства, то есть видимости.

Левочка дерзко останавливалась под картинами; отступая несколько в сторону, как делают экскурсанты в музеях, говорила искусствоведческие глупости, а когда он уже приподнимался со стула, чтобы ее выпроводить, там ее уже не было, - наводила порядок на столе, просила зажечь для нее спичку, останавливалась перед зеркалом и произносила речи:

"Алена, Алена, ты верила, что никто не понимает живопись, как ты. Открывать людям глаза на великое искусство свое призвание... Тинторенто! Рембрандт, Веласкес! Гоген... "смотрите, какая гамма чувств на лице этой женщины, разве вы не знаете о ней все - ее прошлое и настоящее..." Взглядите на Саваофа в момент его ярости, когда он повелевает ветрами и огнем, водами и твердью... Дидро говорил... Лесинг говорил, Достоевский говорил... Да, Кожинов, меня ждало разочарование. Я готова была плакать, когда после экскурсии ко мне подходили мужчины: "Девушка, вы не дадите мне ваш телефончик?". И я сказала себе: "Аленка, брось спасать мир. Его не спасешь. Ты не борю зредицной пропаганды. Спасать надо художников. Посвяти свою жизнь мастеру, которому ты можешь пригодиться. Когда я вошла в вашу мастерскую, как только я увидела вас, - я поняла, - вот художник, которому я нужна, вот гений - и вокруг никого, кто мог бы разделить его одиночество. Кожинов, давайте выпьем. Я знаю! "отрешенность творца", "непрерывность творческого процесса"...,- но у меня такой повод, такой поворот в судьбе! Ведь я шла к вам, ничего не подозревая. Снимите шапку - прошу! в честь такого события!" - Алена стащила с головы художника ушанку, опустилась перед ним на корточки и с изумлением воскликнула:

- О, как бы вам подошел шлем Алкивиада!

Кожинов впился в ее лицо глазами. Его взгляд повелевал остановиться, но она что-то еще говорила, кого-то изображала, он видел порозовевшие скулы, влажный лоб, обицкие губы, — лицо мальчика, ударившегося в него на улице было таким же. Вот комната, в которой он прожил пятнадцать лет. Теперь он не мог видеть тусклое пятно зеркала без отражения этой девчонки, свои картины без комичного гипса рядом с ними. Он всюду находил призрак, но еще не знал, что ему придется жить воспоминаниями.

— Ты пьяна, — сухо проговорил он.

— Нет, нет! — запротестовала она. — Я знаю, что мне будет тяжело с тобой. Но что поделаешь! — грустно добавила она.

— Не в этом дело, — пробормотал художник.

Мастер подошел к окну и открыл форточку. Над домами простерлось фиолетовое звездное небо. Алена подошла сзади и надела ему шапку. Он поставил ее рядом перед собой, положил руки на ее плечи. Хороший знаток анатомии, он знал, что мышцы плеч носят название дельтовидус мускулес.

Третий вечер Студент звонит в дверь Мастера и ему не открывают. Он проходит через арку во двор и смотрит на освещенное окно художника. Возможно, Мастер болен, возможно, он перестал слышать звонки, возможно, — решил отделаться от посетителей. Окно на втором этаже; если Кожинов выглядит во двор, он легко заметит своего друга. Но Студент горд, он не может допустить, чтобы его заподозрили в навязчивости. Без вечеров у Мастера жизнь потеряла центр. Как ни ничтожно прожил ты день, как ни нелепо все, что говорил и делал, одно присутствие Мастера возвращает веру, что ты, так или иначе, оказался там, над чем не властно время и совершается тайна будущего. Коле кажется, что он был к Кожинову несправедлив, — в конце концов, что они все рядом с ним? И тем не менее за три года не было случая, чтобы не отворялась дверь. Даже больной, закутанный в шарф и в теплых опорках, равнодушно, но без неприязни, Кожинов кивал, а в комнате указывал на большой под

шелеринкой чайник. Какое право имеет Коля обижаться, но все-таки его преданность, которую никак нельзя поставить себе в заслугу, думалось, должна быть ответной. И мысленно, удаляясь от дома Кожинова, Студент произносил упреки.

Сегодня он прочел одного старого писателя, который спрашивал: "Что для жизни государства два-три хороших или даже гениальных художника? Народ даже не заметит их отсутствия, он прекрасно обойдется без них." В связи с этим, Коле пришла в голову мысль. Он сказал бы Кожинову, что вопрос надо поставить иначе: если два-три гениальных художника в стране все-таки существуют, конечно, значение их, можно согласиться, для нации ничтожно, но вопрос в том, нужно ли их, если они все-таки существуют, уничтожить или сделать так, чтобы их не было? Если вывод: нужно, тогда ясно, что их значение колоссально. Да, колоссально.  
Вам, мастер,- сказал бы Коля,- рассуждения, знаю, чужды,- что вам до этого, но оправдание народа через гения /вспомним немцев и Гете/, ~~если~~ снятие проклятия ~~судьбы народа~~ проявляет ничтожности и немоты.

Унылый Коля занимал себя воображаемой беседой- и вдруг- ослепительная догадка! Как не пришла ему эта мысль прежде! Мастер пишет ВЕЛИКУЮ КАРТИНУ! Затворился- и пишет. Это будет великая картина! целая эпоха! Мы, бездельники, инфентильные нарциссы, болтаем о несчастном нашем времени, о системе, о гадкой среде, чего-то ждем, как будто по нашим несчастьям, выдадут еще по одной жизни. Надо жить так, чтобы само время обрело наше имя. Далее, у Студента пошли резиньици; он вспомнил, что вот уже два года, как обещает написать о художнике статью,- разве не носит он ее в голове, четкую, неоспоримую, блестящую, но кроме заметок на листках по блокнотам- ни-чего, расквашенная капуста. И нет оправдания, ибо никто не может лишить человека воли и судьбы,- вот урок Мастера.

Взволнованный Коля бежит за автобусом. Открытие потрясло его. "Новые кануны!!" Так некогда эпоха Возрождения была заварена в тигелях алхимиков и замешана на палитре живописцев! И он умеет проницать иррациональные сдвиги истории. Что-что, но уж это ему дано. Он спешит в кофей-

ио сообщить о начале нового времени.

В кофейне- оно в средостении города,- толкутся люди одного круга. Круг широк, он начинается где-то там- среди фарцовщиков, тунеядцев, поддельщиков брошек и браслетов, нелегальных пижаменов,- в богеме, и заканчивается мастерами, куда приходят величественные коллекционеры и уклончивые иностранные дипломаты. Круг разбит на кружки и независимых индивидуалов. Но все в этом круге чтят Великое Искусство. На каждого порядочного художника и поэта- сто алкоголиков, сексуальных гангстеров, поддельщиков, циников,- здесь словно персоифицированы все те мотивы и страсти, которым искусство обязано своим существованием,- это не Олимп, но его подноготная; собираясь вместе, круг составляет нечто правильное и целое, а главное- неистребимое. С Кожиновом здесь знают все. Почему-то считалось, он- их. Кожинов и еще несколько корифеев оправдывали все их поражения.

У входа Коля встретил знакомого гиперреалиста, который недавно покинул академию, заявив протест против казенщины и рутины этого заведения. Коля был слишком взбудоражен, чтобы тотчас сообщить новость. Другой на его месте вообще предпочел бы молчание. Но он был гражданином "круга". К тому же он хотел решить- является ли уход гиперреалиста и его друзей из академии тоже знаком уже начавшихся канунов, не является ли все это одним иррациональным целым- единственным решающим поворотным историческим событием.

Они пили кофе и молчали. Наконец, Студент поднял голову, он согласился трактовать уход, как элемент великого целого,- и лишь, как каденция: "Вы слышали, Мастер никого у себя не принимает,- Кожинов пишет ВЕЛИКУЮ КАРТИНУ".

Его слушатель, не проговорив ни слова, тотчас исчез и вернулся со своим долговязым нескладным приятелем. Указал на Коля и сказал:

- Он говорит, что Кожинов пишет ВЕЛИКУЮ КАРТИНУ.

- Я не знаю насчет ВЕЛИКОЙ КАРТИНЫ,- кривя губы, сказал долговязый,- но мы,- кивнув на гиперреалиста,- видели, как он распустил юни, когда Аленка решила у него бросить якорь. Мы слышали, как к нему водили одного немца, настоящего немца из ФРГ, но Кожинов плотно зашторился.

Я не думаю, что он пользуется Алenkой как моделью. — Дальше следовал вывод: — Надо знать себе цену. И опять-таки Гаррик. Ему и так не повезло с отцом, — а тут уходит спутница. Ведь он у нее жил. А теперь...

— Гаррику негде поставить мольберт, — закончил напарник.

— Мастер пишет ВЕЛИКУЮ КАРТИНУ! — повторил Коля.

К столику подходили. Начиналась сходка. Да, — говорил Студент, надо знать всему цену. Он переживал безумие преданности человека человеку.

— Кто такой Гаррик! — кричал Коля.

Гаррик стоял здесь же за спинами приятелей — и красивел. Что он мог сказать!

— А-а-а! Началась новая эпоха! ... Эскизы, планы, идеи, но что это все! молчите о Гаррике, он сам знает про себя, что он мимый художник. Когда художник начинает ВЕЛИКУЮ КАРТИНУ наступает тишина. Мы не знаем его интенций! Мы не знаем ничего, что должно свершиться и свершится. Мы никогда не узнаем, почему он не снимает своей шапки и пишет на картоне из-под холодильников. Мы никогда не поймем, почему Алenkа, ваша Алenkа, бросила у него якорь и что Мастер в ней нашел. "Здесь дышит почва и судьба"! — поэт говорит так.

— Продолжай, но не кати бочку на Гаррика. Ему и так плохо.

— Кожинов пишет свой Страшный суд, — сказал Коля и выбрался к выходу.

## 7.

Алена связала Мастеру носки и толстый шарф. До последнего дня она доставала по дешевке старинную мебель. У нее был составлен план, как надо обставить комнату. Вечером, под большой бронзовой лампой, с вязанием в руках, она выглядела в роли хозяйки благочинного дома в старом вкусе. И хотя гости приходили к Кожинову, они скоро поняли, что не следует пренебрегать ни комментариями Алены, ни мимикой ее круглого лица, решительно направляющих вечера к выношенному, по-видимому, ею идеалу: сдержанности,

трезвости, светскости. Это могло раздражать, но противодействие не было равным, в следующий раз она могла холодно отказать в приеме.

Ко всем этим новым пертурбациям в жизни Мастер не имел никакого отношения. Он ничуть не изменился. Но можно было заметить, что он располагается в комнате так, чтобы видеть и, следовательно, замечать, что говорила его подруга, а слепил он за нею мягко и с любопытством. Он выглядел свежее и глупее и, возможно, еще решительнее шел в своих картинах к цели.

Забавным был визит к Кожинову его родителей. известие о том, что сын женился, а жена - хозяйственная и волевая женщина, вызвали у матери надежду, что он, наконец, обретумился. Каждая женщина проносит через всю жизнь идеал дома, который является, одновременно, идеалом, каким должен быть мужчина, - при этом она редко сомневается, что ее идеал может какой-то женщине не подойти. Мать Кожинова, по-видимому, не сомневалась, что жене удалось привести сына в норму и что в невестке она найдет свою сорваницу. Вот тогда-то она и выскажет, каким должен быть муж, жена, дом, и если к ней прислушаться, она научит, как в этом мире нужно жить. И далее, она будет выслушивать от невестки признания в проблемах, которыми не с кем поделиться - только с нею, проблемах воодушевляющих чувства и ум, о тех проблемах, ответы на которые может дать только мать, потому что все они где-то там - в еще бесстыдной поре жизни ныне взрослого человека.

Все это предположения. Ибо получилось нечто противное всем этим ожиданиям матери Кожинова. Но забавность этого инцидента как раз в том, что Алена как будто знала об этой идеальной схеме отношений матери-невестки, и прямо и решительно отсекла для нее всякую возможность. Нужно было видеть мать и отца Кожинова, когда Алена, после обычной процедуры знакомства, лобзания, заявлений о том, что теперь они родственники и пр., сказала, что брак они заключили по формальным соображениям, иначе они не могли бы добиться мастерской, а потом попросила студента Колю показать последние работы Мастера и он комментировал их, говоря о

Руо, о Клее, о Рушенберге, о синтезе Кожинова, о его известности, о проблемах, которые удалось ему счастливо решить. Отец художника, с лишней кожей на лице, раздражительный: еще бы, выслушивать лекции о своем собственном сыне, как будто он в самом деле важная птица, вместо того, чтобы, как делается у нормальных людей— бегут в магазин за вином и закуской, и говорят на человеческом языке,— с самого начала понял, что никакого замирения быть не может, что сын, как был цураком, таким и остался, хотя ухитрился как-то пристроиться и морочить голову другим. Он, собственно, все пытался добраться до сына и показать, что его-то не проведешь и всеми словесами не удивишь, а вообще, если говорить официально, все это пропаганда— газеты-то он читает! И за эти разговоры, коль станут они известными, по головке не погладят. "А чего тут изображено?...— тыкал он пальцем в картину,— не понимаю",— решительно заявлял он, но студента Колю ничуть это не смущало, он был готов расширить свою лекцию за счет таких тем, как "деформация— следствие отказа от натурализма", "восприятие нового искусства", "массовая культура и авангардизм". Нужно сказать, что Коля принял покилую пару за коллекционеров живописи старого толка и поэтому не проминул указать на то, что работы Кожинова находятся в собраниях всех значительных коллекционеров страны.

Что касается матери художника, то она слушала Колю с большим старанием, ибо понимала, что непонятное может быть полезным, но больше всего ее интересовала Алена. При каждой возможности она обращалась к ней с любезностью, усвоенной как форма лести и минимого уважения.

Когда все уселись за стол и отец Кожинова со злостью наблюдал за хитростями жены, Алена оставила свое вязанье и заговорила опять о том, какой их сын замечательный человек и художник. И матери ничего не оставалось делать, как фальшиво удивляться и восхищаться, что скоро ее утомило. Она кокетливо сказала, что у нее в детстве тоже были художественные способности— учителя говорили, но ее супруг промычал что-то вроде "заткнись" и гневно объявил,

что они не могут больше здесь оставаться. А когда он с женой оказался на лестнице, подвел итог: "Дура!"

### 8.

Студента больше всех коснулись эти домашние перемены. Алена сразу отметила Коля среди знакомых Мастера. Только ему дверь была открыта по-прежнему в любой час. Маленький, в черном свитере, он приходил как на службу — секретарь, биограф и друг дома. Только с Колей Алена не придерживалась светских тонкостей, он был ее личный союзник в невидимой борьбе с богемой, распущенностью, развинченностью, и миром авторитетов, признанных лидеров нового искусства. Он пунктуально выполнял все ее просьбы — являлся с портфелем, набитом книгами, набором красок, не отказывался сбегать в магазин и последить на кухне за обедом. Это Коля помог Алене отремонтировать комнату и достать старинные вещички, без которых Алене казалось, невозможно придать дому подобающий стиль. Только Коле разрешалось по-прежнему высказывать о работах Мастера критические суждения. Теперь он писал о Кожинове статью и каждый новый отрывок прочитывал Алене. Он сопровождал ее в кино или в компанию, если Мастер решал оставаться дома. Когда они вечером вполголоса обсуждали последние сплетни или рассматривали репродукции, которые Коля принес, можно было подумать, что Кожинов тут не при чем, он где-то там — со своим энциклопедическим словарем или карандашом.

Об отношениях студента с Аленою высказывали разные предположения, но Коля был слишком горд и независим, чтобы как-то отвечать на них. Именно в этот период он был признан авторитетным теоретиком нового искусства и среда, хотя и злословила, гордилась им. Может, до того времени, как в доме Кожинова появилась Алена, Коле недоставало как раз "стиля", оправданной роли, — Алена помогла ему этот стиль и эту роль обрести, и вечные сомнения в своем положении: "при Учителе", задевающие самолюбие, больше его не беспокоили. Мастер может прибывать там, на другом конце Вселенной, — ему, может быть, нет дела, что он значит для

других, но - выбор сделан: ты на том же корабле и пробуй сам разгадать, что лежит за новым горизонтом.

Кожинов начал новую серию рисунков. Кожинов как всегда молчал. Композиции стали двойными, - что происходит в сознании Мастера? Коля перечел Достоевского и пролистал каталоги, выискивая аналогии у других художников. Казалось, это был только прием: под прямым углом падает на набережную тень дома и как черное покрываю ложится на деревья, человека, ларек, но плоскость горизонта в дальнейшем начинает изгибаться и начало композиции, как осевая точка, перемещается вниз - и оттуда, из этой точки берет происхождение, независимых друг от друга двойных изображений. Сферическое пространство оказывалось стянутым невидимыми линиями, но все, что на листах было изображено, - люди, деревья, дома, птицы, машины, как бы не знали, не помнили, не догадывались о своем единстве, и это придавало их бытию значение не тайного, как прежде у Кожинова, а явного абсурда. Некоторые листы напоминали взрыв: - взрыв, и все разлетается в разные стороны, сохранив невыносимо нелепые позы, жесты, протягивали друг другу руку для рукопожатий, смотрелись в зеркало, вешали на балконную веревку белье, наказывали собаку. Все, что можно было сделать в этом мире, оказывалось нелепым.

Серия росла быстро. Кожинов явно искал единственное решение темы, Алена и Коля слышали шорохи его упрямой работы, дыхание, скрип рассошедшегося паркета, перо стукалось с дно пузырька с тушью. Незаметно уходил на улицу и незаметно, иногда после полуночи, возвращался. Алена поднималась и наливала ему чай. Мастер, не изменяя привычкам одинокой жизни, ломал хлеб руками и ставил стакан мимо бледца. В первые минуты его возвращений можно было увидеть, с каким выражением лица он странствовал по улицам.

-Мастро, - сказал Студент, когда присмотрелся к новой серии рисунков, - не хотите ли Вы назвать свою графику "Атомная эра"? Вообще художникам пророчества не удается. Но что вы все-таки хотите сказать: экспансия или распад? Если экспансия, тогда попробуем представить, как Алена разливает чай где-нибудь на Венере.

Мастер засмеялся чему-то своему, глядя вкось с веселым напряжением.

- Но, - продолжил Студент, - всегда есть третий.

- Николай, нас ТРОИ или ВОЕ?

- Алена, вас сейчас двое. Ты это прекрасно знаешь.

- Если было бы так! - серьезно произнесла она.

- Человек хотел бы иметь дело с чем-то одниним.

Один мир, один Бог, один человек, одна система, - он и что-то второе. Если бы так и было, то, наверно, судьба человека могла быть прекрасной. Во всяком случае, он бы сумел приспособиться, он стал бы или зверем или Богом, - но все проблемы разрешил бы раз и навсегда. Но ему постоянно угрожает третье, другая система координат. Когда третье привидилось ему невинной и подаренной возможностью, - он может заказывать реквизит трагедии. Я сейчас сделаю предположение: третье - это и есть прекрасное, соблазнительное прекрасное. Что нам до возможностей, которые не прекрасны! В двумерном мире - только необходимое. Я вспоминаю древнюю и верную интуицию: поэтами, художниками владеют демонические силы, они обольщают человека прекрасными голосами и красками, словами и мечтами. И он идет за ними следом, позабыв надежную схему двойного мира.

- Ты сегодня хорошо говоришь, - сказал Кожинов, - но не в этом дело.

Но Колю не порадовала редкая похвала Мастера. Он смущался, стал торопиться домой. Растерянный, попрощался, стал просить, что никогда прежде не делал, извинения, что сегодня так долго у них засиделся.

"Как страшен мир", - думал студент, выбегая на улицу.

"Я бы долго так не выдержал. Но Мастер видит жизнь без прикрас день за днем. Черпать воду решетом - отсеивать диковинные крупицы смысла и черпать дальше, не придавая улову никакого значения. Знать, летишь в пропасть - и при этом застегивать пуговицы и пересчитывать мелочь в кармане. Ведь он ни на что не надеется! "Ваши картины когда-нибудь будут висеть в музеях", - я буду повторять эти пошлости во всех созвездиях, как на Венере Алена все также разливает чай: стоять нужно слева, крышечку чайника придерживать салфеткой..."

Горькое открытие увидеть жизнь в безжалостном сцеплении сил, и торопиться записать свое видение, которое, кажется порождаешь сам, но нет, ты только пленник того, что совершается, потому что как не пытаешься вырваться за ограду вольера, — что из того — ты только повторяешь вечные движения всех пленников. "Кажется, я напал на след Мастера", — думал Коля, но не верил, что прозрения даются по требованию предъявителя. "Сейчас или никогда", — решил он, думая про свое сочинение о Кожинове.

Кофе и сигареты, — несколько дней он не выходил из дома. И чем увереннее он приближался к концу статьи, тем праздничнее представлялась ему встреча с Мастером. Но в субботу, когда была написана последняя фраза и он подошел к зеркалу растереть мышцы лица, его окатила такая волна покоя, что сложить листки в папку — представилось неисполнимым делом. Он все оставил, как было, даже не погасил свет, и вышел на улицу. Улица — белая, мягкая, — красиво уходила в тупик морозного тумана, лица прохожих ~~Ребята~~ намекали на уют счастливых часов и на то, что ничему не стоит придавать большого значения. Но в зале — шла французская кинокомедия, — он почувствовал безобразие смеха, толпы, однако, смеялся со всеми и, как бы краем глаза, видел свое собственное отражение в ~~идиотском виде~~ маски. И все же, как после той ночи, когда самоубийство показалось Коле единственным разумным выходом, он нуждался в отсрочке и пережил несколько дней одинокой, пустой жизни, как сладкую эпидемию, но когда, наконец, направился к Мастеру, вдруг почувствовал, что опаздывает или — опоздал. Он взял бы такси, если бы у него были деньги.

— Итак, — сказал Студент, пристраивая свое пальто на вешалке, и оборачиваясь к Кожинову, — смею сообщить, что для вас, конечно, не является новостью, но было новостью для меня: в ваших картинах, в ваших рисунках совершается одно и то же, раз за разом, с механистическим, позволю выразиться, постоянством. Еще давно вы как-то

обронили слово - "неотвратимость"; и только теперь я понял, как много оно для вас значит.

Тут же у двери расческой Студент поправил волосы и поклонился Мастеру, как будто кто-то другой открывал ему только что дверь.

- Вопрос заключается в том, что совершается, что повторяется. И я бы хотел, чтобы вы это пояснили. По-видимому, мой вопрос - вопрос риторический, но вы, по крайней мере, должны знать, какая задача у критической мысли. Если вы не возражаете, я прочту чрезвычайно важные места в работе о вашем творчестве...

Если бы свет не падал на лицо мастера и Коля не видел его широко открытые глаза - неподвижные, склоненные немного в сторону, всегда немного птичьи, в зорком безразличии, - он подумал бы, что Кожинов дремлет. Однажды, он видел, как Мастер спал, его лицо стало еще более одутловатым, безвозрастным, возможно, таким, как у вавилонских астрономов, привыкшим созерцать волю божеств еще до того, как они приведут в действие царей и народы. Повинуясь двойному ходу мысли, Коля вновь ощущал тревогу опоздания.

На столе лежала записка. Студент посмотрел на Мастера и понял, что прочесть ее он имеет право.

"Кожинов, - прочел он, - случилось несчастье. Несколько дней назад я встретила человека, который был когда-то моим другом. Человек по-прежнему любит меня, но поверить не в этом, как ты говоришь, дело; он пропадает. Я решила остаться с ним, хотя не знаю, что это изменит.

Не сердись. Я знаю, что ты простишь и забудешь меня. Ты сильный. Ты привык идти один, и мои хлопоты вокруг тебя такие ничтожные. Я смотрела твои картины, написанные за наш год, они мне дают надежду, что ты даже не особенно заметишь мое исчезновение. Я могла бы многое написать, как тебе благодарна. Я прекрасно поняла, какой нужно быть, чтобы сделать <sup>какую</sup> что-нибудь стоящее... Я начинаю говорить глупости. Извини меня и прощай."

Коля закричал:

- Я знал, я знал, что этим все закончится! Это обыкновенная... - но не договорил и заходил взад и вперед по

приграшими плашкам паркета. — Вот штампованная продукция века! Как я ее ненавижу! Ты видишь глубоко, но иногда то, чего нет. Должно быть — и все-таки нет. Ты слишком, мастер, доверчив. Ты этой записке веришь? Здесь нет ничего, кроме лжи. Ты думаешь она собирается спасать своего бывшего возлюбленного! Там нечего спасать, Кожинов. Это кудельный анимичный карась. Я не говорю о его картинках, — Алена все по этой части понимает. Старик, с тобою рядом стыдно жить, — вот в чем дело. Ты понимаешь, что ты невыносим.. От тебя хочется бежать, исчезнуть и жить так, как будто не существуешь. А ты увековечиваешь... Что?... В одном она права: ты ее не заметил. Но она, вижу, растопила твоё сердце...

Студент шел навстречу взгляду Мастера, Мастер поднялся навстречу и прошагал, задев Колю, в угол комнаты. Там передвинул подрамники и вскинул перед собой холст. Поставил его на мольберт и повернул к свету. На холсте была Алена. Студент прикрыл глаза, он всегда боялся работ Кожинова и пробирался в их глубину осторожно, словно замечая по пути вехи, но которым можно выбраться с безопасностью назад. Он успел поразиться лишь, как картина была написана, — в ней он отказался от своей обычной манеры, — от отлива холодного камня до теплоты красной замши — играли краски. Мастер уже вернулся к холсту и отправил его туда, откуда извлек.

Кожинов сунул в карман папиросы и намотал на шею шарф. Студенту показалось, что художник усмехается. Стал одеваться тоже. Но не успел. Он замешкался со своими тетрадями и, когда вышел вслед за Мастером из квартиры, лестница была пустой. Внизу хлопнула дверь на улицу. Он попытался его догнать. Падал редкий снег и ватная тишина смыкалась над домами.

Коля увидел следы художника. Отпечатки подошв показались нечеловечески большими. Дальше его следы перебивались другими. Но он продолжал идти, угадывая шаг Кожинова. На открытых местах мело. На пустыре, где когда-то стоял деревянный дом, Коля потерял след. Носились и лаяли, играя, две собаки. Свет уличных фонарей здесь едва освещал

снег. Коля вернулся к дому Кожинова. Некоторое время он мерз на улице, потом поднялся наверх. В комнате одиноко горела старая лампа. Это все, что осталось после женщины. Он поставил на плитку недоваренный клей. Расправил на полу холст. Потом пересевал сквозь марлю мел. "В мелу не должно быть посторонних примесей... Приготовленный грунт должен быть по виду похож на густую сметану... Вот чему меня в академии научили..." Звонили. Он открывал дверь, обещал, что Мастер скоро вернется и продолжал говорить, ползая по холсту на коленях. "Он вернется... Да, да... то, что должно быть совершено, совершится..."

Пришел почтенный старец, который, говорят, был знаком с Бухарином и обереутами, Коломейцев - на удивление трезвый и молчаливый, несколько художников с папками, две девицы скромно прошмыгнули в тень у окна, затем немец Клаус, сопровождаемый известным коллекционером. Продолжали звонить и Коля объяснялся.

- Ну, что ж, - сказал Студент, - не будем терять время. То, что должно совершиться - совершится. Он открыл тетрадь и начал лекцию.

"Я еще на ногах", - бормотал Кожинов. Он должен был повторять слова снова и снова, потому что воскресить себя удавалось лишь в оболочке повторяемых слов. "Я еще на ногах", - хрюпало его горло под шарфом.

<sup>Он знает</sup> Правда того "червячка", который внутри плода делает свою работу, тихо, непрерывно, неотвратимо. Никакие игры мысли, красок, слов, не касаются хода этой работы - вот, что он давно понял!

Однажды она явилась к нему в образе пастыря, режущего овец в夜里. Сегодня он знает о Пастыре больше, он знает, как ласкова рука Господина, - она может стать солазнильным образом, который будто не знает другого предназначения, как только растопить твоё сердце. В нежном ответе закрываешь глаза, - и вот тогда нож Пастыря находит краткий путь к твоему горлу. Он понимает теперь и другое, те,

кто прячет Бога и говорят, что Его нет,- это ничтожества, которые в свое время не решились взглянуть Ему в глаза, они поверили в свою сахарную ложь, они развесили свои цветные тряпки и воздвигли фанерные декорации, они наполнили мир шумом детских песен и речей, но что Богу до этого, ~~каждого~~ которого они хотят скрыть, он совершает неотвратимое среди фанерного царства и Кожинова всегда удивляло, что люди ищут виновных в своем собственном стаде, и только глупцы спрашивают: за что?

Церковная дверь оказалась случайно незапертой,- вечерняя служба закончилась, верхний свет был уже выключен. Несколько старушек-прихожан обходили пределы и гасили свечи. Старый священник в ризнице снимал облачение и переговаривался со старостой- с плешиным, злым, постным человеком без возраста. Возмущенные и устрашенные шагами Кожинова, старухи с разных сторон вышли ему навстречу. Старица Аксинья, только взглянула на художника, так сразу понудила себя скорее достичь завхоза храма Агатову, атеистку, но женщину нужную для всякого порядка. Так она и бежала, не приготовивши речи и сбиваясь с дыхания, и не трогаясь от волнения с места. Другая потом рассказывала:

"И сразу поняла- бес. Шапку не снимает, лоб не крестит, а глаза- как угорелого, верно говорю- не вру. Про дух-шел ли от него?- не знаю, и зря говорить не буду, но сам весь большой, матерый, неистовый. Бежит- ничего не видит. Я к нему- говорю: "Вардухалак ты, вардухалак, непутевой, что голову, как дурной укутал! Все забыл,- говорю,- где твоя гастрономия, где Храм Господень. Очисти, говорю, церковь, сейчас милицию вызову". А он мимо меня, чуть с ног не свалил, к алтарю. А тут распятие нашего Спасителя,- недаром говорили, чудотворное оно,. Как уставился- так и ноги к земле прилипли. Этот балбес стоит и стоит перед Богом Распятым за греховную бездну всего мира. Я трепещу: ведь никто на помощь-то не идет. Что будет, не знаю,- разобьет, гречная душа, распятие, или еще что-нибудь сделает. А Иисус, вижу, весь светится. Что бес перед нашим Господом!- из пыли выйдет и во тьму войдет. И ушел.